

*Посвящается врачам и садоводам*



в начале осени ты слышишь призраки  
людей, давно ушедших,  
эхо забытых разговоров,  
гул догоревших лета и весны.

ты слышишь шорох трав застроенных полей,  
вой отмененных поездов,  
лай старых лис в лесу,  
и щебет улетевших птиц,  
и собственное детство.



*Метафоры смерти воспроизводят ритм  
взаимоотношений дикой природы и родного дома,  
ухода и прибытия, одиночества и связей.*

ТОМАС МАХО. МЕТАФОРЫ СМЕРТИ\*

Свое тридцатилетие я встретила в больнице.

День начался с команды просыпаться. Именно с ней в половину восьмого в палату зашла медсестра, вручила мне градусник и вышла, оставив дверь распахнутой. «Просыпаемся», — донеслось снова, уже дальше по этажу. Я сунула градусник под мышку и попыталась досмотреть сон, но мешал свет из коридора. Вскоре медсестра вернулась в душный, кофейного цвета полумрак палаты — теперь с журналом и стальным лотком. Она включила лампу, записала в журнал температуру — та все еще держалась — и сделала укол.

Мне сегодня тридцать, сказала я, лежа на животе и глядя на нее краем глаза, снизу вверх.

Медсестра моргнула, не сразу сообразив, о чем я, затем улыбнулась — она тоже не до конца

---

\* Махо Т. Метафоры смерти. О логике трансцендентного опыта / Пер. А. Белобратова. — М.: Des Esseintes Press, 2025.

проснулась. Ну что же, с днем рождения, сказала она, убирая использованный шприц в лоток и пришлепнув место укола ватой, пропитанной спиртом. Это надо как-то отметить. Можем сделать витаминки.

От витаминки я отказалась и осталась лежать на животе, придерживая ватку на покрытой пятнами синяков ягодице. Вторая ягодица была не лучше, обе они выглядели как бока подпорченного яблока — когда тебе делают по три укола в день в одни и те же места, гематомы неизбежны. Я мазала их желтоватым гелем — впрочем, просто потому, что мне велели это делать. Сама я не верила, что гель действительно может повлиять на что-то, кроме верхнего слоя кожи.

Подмосковный госпиталь, в котором я проходила лечение, окружали ели и сосны, на них густо падал снег. Он скапливался на ветвях, затем сползал и беззвучно падал на сугробы у корней. Мне хотелось одеться, выйти в белую тишину и прогуляться по узким натоптанным тропкам. Коснуться иголок на еловых лапах. Погрузить ладонь в снег и почувствовать, как холод обжигает кожу. Будь я на даче, я так бы и сделала.

На этаже нас лежало трое: я и двое мужчин лет шестидесяти. Время от времени кто-то из них шаркал тапками от сестринской, держа чашку кипятка. Три раза в день нам развозили еду на тележке. Кормили в госпитале на убой: огромные порции супа, котлеты больше моего кулака, пюре,

салат, компот. Тарелки потом забирали, тоже сгружая на тележку.

Через пять дней, перед выпиской, мне сделают флюорографию. Да, была пневмония, скажут мне, подтвердив уже много раз подтвержденное. Левое легкое, верхняя доля, теперь все в порядке. Если хотите, сделайте КТ, но это не обязательно. У вас останется спайка, такое бывает после тяжелого течения болезни. Просто вы запустили грипп, девушка, неправильно лечили, плохо откашливали, и прочее, прочее, прочее.

А спустя два года, еще одно воспаление легких и две компьютерные томографии окажется, что «просто» пневмонии не бывает.



# 1

Все начинается в конце 2014-го.

Мне снится: звонит телефон и кто-то незнакомый гнусаво сообщает мне, что бабушка Анна скончалась. А я вспоминаю, что хотела съездить в Лобню, где она живет, и навестить ее, но постоянно откладывала поездку по разным причинам: из-за лени, как я считала тогда, а на самом деле из-за неубывающей усталости в декрете. Попросить кого-то посидеть с ребенком мне удавалось редко, и не оставалось сил, чтобы изображать радость от материнства, которая как минимум должна граничить с маниакальной фазой биполярки. Погоня за призраками успешного успеха: Лена готовит первое, второе, третье и компот из экопродуктов, Вика похудела, занимается лепкой с детьми и ведет свой блог, Марина открыла маникюрный салон на дому, а что делаешь ты? Тратишь весь день на жареную курицу и уборку?

Во сне я тоже разочарована собой. Я не попрощалась — как я могла? Горе простреливает от макушки до пят электрическим разрядом, и я просыпаюсь, потому что плачу.

На телефоне пять утра. За окном расплзается рассвет, будто капля розовой краски в голубоватой воде. По правую руку от меня спит муж. По левую руку детская кровать, в ней спит сын, ему три года. Мне самой уже не спится, позже я набираю бабушке, но никто не отвечает. Тогда я звоню ее родной сестре, бабушке Клементине. Она говорит, что Анна приболела, но с ней мой отец. Все хорошо, просто сломался телефон. Я верю. Сама я последний год редко звонила Анне, отношения у нас сложились тяжелые.

Я провожаю мужа на работу.

Я сажусь за роман.

Я готовлю завтрак и кормлю проснувшегося сына.

Я слушаю новости через наушник. Свободным ухом я прислушиваюсь к тому, что происходит в квартире.

Я смотрю на экспрессы до аэропорта. Они с гудком проносятся мимо, их красные вагоны мелькают в просвете между пеналами-многоэтажками.

Я собираю Лёву, и мы идем гулять.

Я стою на пешеходном мосту над железнодорожными путями. Рельсы похожи на позвоночник. Натянутые над ними провода — это нервы. Когда я была маленькая, бабушка учила меня угадывать приближающийся поезд: если провода подрагивают, значит, электричка близко. Так нервный импульс бежит от конечностей к мозгу.

Мам, поезд! Смотри, мам, еще поезд, повторяет Лёва. Он очень любит поезда. Помпон на его шапочке тоже подрагивает.

К станции подъезжает электричка, выпускает пассажиров, те торопятся вверх по лестнице к нам, на пешеходный мост, а электричка едет дальше. Я смотрю ей вслед, в точку, где провода и рельсы-позвоночник сходятся и перетекают за горизонт. Там, в полчаса езды, находится Лобня.

Тучи набухают, опускаются к земле, соприкасаются с ней животом, полным дождя. Электрички проносятся под нами в обе стороны, тормозят у платформ, впускают и выпускают людей и уезжают за пределы пузыря, до которого сократился мой мир: десять дворов, три улицы, пять перекрестков до Дмитровского шоссе. Мы с Лёвой проходим его за час. На электричке за это время можно доехать до Икши, я никогда там не была.

И меня все еще тревожит увиденный сон.

Я могу послушать свою интуицию.

Я могу сесть вместе с Лёвой в электричку и проехать десять остановок.

Я могу перейти поле между станцией и городком, дойти до нужной пятиэтажки, постучать в окно квартиры на первом этаже.

Но я думаю, что это всего лишь сон. Мои страхи, ночной кошмар, не более того. Я беру Лёву за руку, и мы спускаемся за пассажирами к автобусной остановке и ряду маршруток, которые стоят с открытыми дверями. К белым панелькам,

выстроившимся в шахматном порядке до самого МКАДа.

\* \* \*

Смерть приходит тихо и оставляет за собой еще более глубокое молчание, как следы в вязкой почве болота, которые постепенно заполняются водой. Следом меняется ветер, теперь он северный, пронизывающий, неуютный. Он сквозит через щели в окнах, холодит ноги, забирается под куртку, свитер, майку, кожу.

Осенью 2014 года, спустя два дня после моего сна, бабушка Анна умерла.

Уже после я узнаю, что накануне она плохо себя чувствовала, обострился панкреатит. Ехать в районную больницу она наотрез отказалась — в последний раз, когда она туда поступила, ее держали на диете и делали капельницы с глюкозой. Она посчитала, что этого было мало, что это было не лечение, а фарс, и теперь осталась дома. Мой отец посоветовался с бабушкой Клементинной и тоже не стал вызывать скорую и оформлять мать в больницу против ее воли. Он просто перевез Анну на такси к себе, в Мытищи. Взял ее пенсию, ходил в магазин, принес сухари и зеленые груши, себе — пиво. А через день бабушка Анна скончалась, лежа позади него на диване, глядя на его спину. Гнойный панкреонекроз, как показало вскрытие.

По данным исследований, проводимых с помощью электроэнцефалографии, последним из органов чувств перед смертью угасает слух. Даже когда человек теряет сознание, его мозг продолжает реагировать на звуки.

Что слышала перед смертью бабушка Анна? Лай собак за окном? Смех детей в детском саду напротив? Шум ветра? Звук телевизора? Голос отца?

\* \* \*

В мытищинский морг я еду одна. Там мне выдают список документов на погребение, велят оформлять быстрее. Попутно сотрудница морга звонит кому-то, и к нам присоединяется еще одна женщина — из похоронного агентства. Она предлагает сделать все «под ключ», как дом или пластиковые окна. Она тоже выдает мне список — какая нужна одежда, какой внести аванс.

Я смотрю на часы на стене — я даже успеваю получить одну выписку сегодня, я знаю, как добраться в тот конец Мытищ. Я сажусь в автобус. Снаружи начинается дождь, и окна постепенно запотевают.

Звонит Светлана — соседка, которую мы недавно попросили нам помочь за небольшую плату, она сидит со Львом два раза в неделю по несколько часов. Первое, что я слышу, когда отвечаю на звонок, — это Лёвин протяжный плач. Когда я уезжала, у него была небольшая температура.

У Лёвы тридцать девять и пять, говорит Светлана. Он жалуется, что болит голова, не может встать. Вдруг менингит? Что делать?

Надо вызывать скорую, понимаю я. Та наверняка увезет нас с Лёвой в больницу. Глупо, что в этот момент я думаю еще и о документах и похоронах. Я будто пытаюсь удержать в ладонях горсть риса, но зерна проваливаются между пальцев и падают на землю.

Я звоню мужу.

Ты сможешь сейчас приехать домой? Я в Подмосковье.

Муж не может, у него работа, он предлагает вызвать врача на дом. Зачем сразу скорая?

Я вспоминаю отца и бабушку Анну.

Хорошо, разберусь сама, я отвечаю и звоню Светлане, сообщаю, что еду. Пересаживаюсь из одного автобуса в другой, который везёт меня в Москву. В Москве пересаживаюсь в маршрутку от станции «Медведково» до станции «Лианозово». На станции «Лианозово» перехожу пути и снова забираюсь в маршрутку. Дождь перерастает в ливень, смывает последние листья с деревьев, лупит по машинам, по асфальту, по мне, взбивает пузыри на лужах. Я перепрыгиваю потоки воды, пробегаю переход на мигающий зеленый — тропически яркий в наступающих предзимних сумерках. Папка с документами у меня в руках отсырела.

Лёва и правда горит и действительно не может поднять голову, когда лежит на спине. Он только

обессиленно хнычет, и я глажу его по вспотевшей голове.

В дверь звонят, но это не скорая, а муж. Начальник отпустил его домой, узнав, что у жены умерла бабушка, а у сына лихорадка. Ты чего сидишь, езжай, сказал он. Теперь муж неловко мнетя у кровати. Не знаю, что смущает его больше: то, что пришлось посвятить начальника в семейные дела, или собственная бесполезность. Он не может подойти ко мне и обнять — такое проявление чувств у нас не принято даже наедине. Он не может помочь сыну — никто из нас не может. Уверена, что он хотел бы, он хороший отец.

Я сижу и смотрю в стену, мне кажется, что я могу только дышать и медленно моргать. Внутри я каменная и немая. Светлана уходит, я слышу, как муж благодарит ее за помощь и шуршат купюры.

Работники скорой задают мало вопросов и решают нас госпитализировать. Я собираю резиновые тапочки, трусы, халат, полотенце, принадлежности для ванной. Такой же набор собираю для Лёвы, вынимаю из папки отсыревшие бабушкины документы, кладу в нее наши, мы грузимся в кузов газели. Лев лежит на каталке, я сижу на сиденье рядом — еду боком, так же как в маршрутках час назад.

Моя миссия — держать ребенка, когда ему делают уколы. Лёве уколы не нравятся, и я его очень понимаю, но все равно обхватываю его руками и ногами, не давая дергаться и навредить себе. Через два дня при звуке открывающейся двери бокса Лёва начинает прятаться под кровать. Мне приходится его выманить, и от этого я чувствую себя предателем.

Еще одна моя миссия — кормить Льва и себя. Еду нам просовывают на подносе через окошко. В первый день Лёве невкусно, он отказывается. В меня еда не лезет, но потом голод берет свое, и мы уже не выбираем, сметаем все, что приносят, даже утреннюю кашу.

Бокс в инфекционке размером три на три, выходить нельзя. Лёве скучно, меня же развлекают звонками из морга. «Вы когда заберете тело бабушки? У нас каждый день просрочки платный». Я обещаю забрать тело поскорее. Я не уточняю, имеют ли они на это право — брать деньги за «просрочку». Наверное, имеют. Они как будто говорят об испорченном мясе, которое лежит на складе. Возможно, в Мытищах слишком часто умирают и морги переполнены.

Во время обхода я спрашиваю у врача, могу ли я оставить в больнице вместо себя кого-либо из родственников. По ее реакции я понимаю, что это нежелательно. У вас так много дел, мамочка? У вас ребенок болен.

Да, отвечаю я, представляете. Мне срочно нужно в морг.

В коридоре приглушают свет. Лев засыпает. Я смотрюсь в овальное зеркало над умывальником. В палате желтые стены, желтый неяркий свет от единственной лампы над кроватью, и мое лицо тоже желтое, с серыми тенями под глазами.

Я пишу мужу и родственникам, прошу помочь с похоронами. Я не люблю просить и злюсь от того, что меня вынуждают это делать. Камень внутри меня наконец раскалывается, и теперь я в ярости.

Я люблю ярость. Она помогает мне собраться и стать настоящей собой.

## 2

В 2022 году, после публикации «Сезона отравленных плодов», со мной связался аспирант Ягеллонского университета в Кракове. Он занимался изучением современной русской литературы. Я исследую образ дачи в русской прозе, сообщил он в письме, и хочу рассказать о вашей книге. Дача — один из главных образов вашего романа. Почему так?

Вроде бы ответ здесь очевиден, но сформулировать, *почему же* дача так важна, оказалось сложно.

Почему дача важна? И что это вообще такое?

Допустим, для старшего поколения это зачастую не коттедж, а просто деревенский дом, в котором жили отцы и деды. Урбанизация опустошила сельскую местность, оставив избы и участки не для жизни, но лишь для загородного отдыха в теплое время года. Это семейное гнездо, теперь покинутое и покосившееся, в котором вечно что-то выходит из строя, на которое вечно нет денег. И средств, чтобы построить нормальный дом, тоже не хватает — да и зачем он нужен, когда отдыхаешь в нем от силы месяц в году? Непозволительная роскошь.

Впрочем, владение садом, да и вообще доступ к земле всегда были роскошью.

Многие делают из своих участков огороды, выращивая на них все, что может вырасти: от картошки, моркови и петрушки до вишни, смородины и тыквы — в зависимости от региона России. Особенно это пригодилось в 90-е, когда многие лишились работы и семьям в буквальном смысле нечего было есть. Дачи нас кормили. Я помню небольшие огороды на пустыре перед пятиэтажкой моей двоюродной сестры. Совсем небольшие и плотно примыкающие друг к другу, как кладбищенские участки, эти стихийные наделы уходили, как мне казалось, до горизонта, под высоковольтные линии у МКАДа. Жители окрестных домов ходили туда по выходным: копали грядки и жарили шашлыки. Официально эта земля им не принадлежала, и теперь она застроена высотками, покрыта скорлупой асфальта, занята машинами.

Насколько я могу судить, поколению моих родителей — скажем, людям с 1955 по 1975 год рождения — садоводство удастся не очень хорошо. Им будто не хватает терпения на обязательные огородные ритуалы. Это поколение больших городов, они уже не копаются на грядках и не сажают яблони без необходимости. Для них, как и для нас, более младшего поколения — людей с 1975 по 1995 год рождения, дача — это место отдыха. Бабушки и дедушки забирали нас на лето или выходные в теплое время года, поэтому у многих дача в первую





1968 год

очередь ассоциируется с ними. Это заметно по отклику на «Сезон отравленных плодов» — в восьмидесяти процентах отзывов звучало: «Да, и у меня было так же, я помню эти яблони, этот огород, я помню бабушку и детство с поездками на велосипедах», хотя очевидно, что огороды, велосипеды и бабушки у всех были разные. Еще мы, миллениалы постарше, помогали бороться с колорадскими жуками — не все растворы спасали, и вредителей приходилось собирать с картофельных кустов вручную, засовывать их в пластиковые бутылки, по одному, отчего пальцы становились желтыми и резко пахли.

Мы занимаемся садоводством только в качестве хобби — в сезон овощи и фрукты дешевле купить в магазине, чем вырастить самому. Те, у кого есть маленькие дети, проводят на даче выходные — в пятницу вечером после работы едут туда, в воскресенье вечером обратно в город, собирая огромные пробки на дорогах. Отдых — спокойный и семейный, без алкоголя и громкой музыки ночью — снова актуален.

Но, мне кажется, для нас, младшего поколения, дача стала чем-то неизмеримо большим, чем отдых, возможность вырастить овощи и фрукты или вывезти детей из города. Многие тоскуют по давно проданным участкам, покупают землю примерно в тех же краях, строят новые современные дома на месте изб, вкладывая большие суммы, — все это слишком затратно и неудобно для простого

«отдыха». Я думаю, мы снова и снова едем туда, где наши бабушки укрывали нас отсыревшими за зиму одеялами, где мы собирали яблоки и купались в реке. Мы едем в деревни, похожие на те места из детства, снова и снова пытаюсь вернуться в ту безопасность и то счастье, откуда нас когда-то исключили, как из райского сада. Возможно, всю нашу жизнь мы держимся на топливе детских воспоминаний.

Со мной всё так же. Возможно, я жду, что найду в калитку, а старый сад все еще на месте и под яблонями ходит бабушка в линялом халате и собирает падалицу. А может быть, я ищу себя, еще в том бирюзовом х/б сарафане с цветами. Я выкачу старый «Аист» с веранды и пойду к калитке, стараясь, чтобы крапива, которой зарос участок, не жалила щиколотки. Выберусь из яблоневого тени на белую, гудящую от зноя дорогу и поеду к лесу.

\* \* \*

Я езжу в деревню даже осенью и зимой, когда дача закрыта и в спячке. Каждый раз, когда мне плохо и грустно, я выбираю свободный день и будним утром еду на вокзал. Не слишком рано — в восемь все едут на работу, метро переполнено, — но и не слишком поздно, чтобы успеть туда добраться и вернуться еще засветло.

Под гулками сумрачными сводами вокзала гуляет эхо объявлений, его разгоняют голуби

хлопаньем крыльев. На электронном табло сменяются конечные пункты маршрутов и пути, с которых уезжают электрички. Когда я была маленькой, табло было другим, на нем щелкали, сменяясь, пластины.

В электричке я сажусь у окна. Вид за ним я знаю наизусть, но все равно все полтора часа смотрю, как город уступает пригороду и пятиэтажкам, затем частному сектору, светло-русые поля, реке, лесу.

Напротив садятся бабушка и внук. Ему лет пять, он неумоимо болтает ногами и бесстрашно прижимается к грязному стеклу лбом. Бабушка одергивает его, предлагает книжку. Это слишком скучно, книжку он читать не хочет и снова прилипает к пейзажу за окном, косится на мое отражение в том же стекле, изучает его и, поймав мой взгляд, улыбается. Я улыбаюсь в ответ.

Дорога от станции до дома занимает минут десять. Сначала я иду под желтыми липами, ослепительными на фоне утреннего голубого неба. Под ногами тоже желтое: опавшие листья слипаются во влажный и скользкий настил. Мимо проносятся бомбилы, развозят пассажиров от станции до дальних деревень. Слева двухэтажные бараки, потом детский сад с волшебным названием «Сказка». Я сворачиваю к лесу, в полупрозрачную тень сосен. Миную покинутый утками пруд и выхожу на главную улицу села.

Прадедущка получил землю в 1949 году — два участка, как главврач местной больницы и ветеран войны. Один он отдал старшей дочери, которая



1961 год

была второй раз замужем и воспитывала сына от первого брака. На другом участке, крайнем, у леса, он построил дом для себя и остальных четырех детей. Это был типовой проект: на ленточный фундамент поставили готовые стены из шлакоблоков и сложили из них двухэтажную коробку. Полы и перекрытия прадедушка делал сам, когда появлялись деньги. Терапевт по специальности, он достраивал типовой проект долго, упорно и без иллюзий. Это временный дом, так он сказал своим детям. Потом вы постройте новый, нормальный.

Надо ли говорить, что временный дом стал постоянным и я живу в нем до сих пор. Он перешел по наследству бабушке Анне и бабушке

Клементине, они передали его вместе с прадедушкиными словами мне, а теперь я говорю так моему сыну: вот вырастешь и построишь здесь нормальный дом. Но Лёва знает историю нашей семьи достаточно хорошо и хитро отвечает, что подарит участок своим детям, пусть сами парятся, а он не будет.

Каждый из владельцев передавал типовому проекту свои черты, дарил ему новую личность. Прадедушкин дом был отделан штукатуркой песочного цвета, на застекленной веранде располагалась летняя кухня. От дороги его отделял густой, буйно цветущий сад, в котором стояли кресла для отдыха, а на сосне у входа висел алюминиевый рукомоийник. Когда им пользовались, он звенел плоским жестяным звоном, и мыльная вода лилась на траву, оставляя на ней белесые разводы.

Мой дом версии 2025 года мало напоминает дом, построенный прадедом в 1949-м. Он обложен красным кирпичом, дополнительной скорлупой, предназначенной защищать рассыпающиеся стены. На окнах теперь решетки — я установила их, помня, как в 90-х каждую весну мы убирали выбитые стекла и грязь после незваных гостей. Внутри есть водопровод, туалет и газовое отопление. Перед домом лужайка, над калиткой видеонаблюдение. Только библиотека на первом этаже осталась на месте.

К чему мы, дачники, стремимся в своем возделывании участков и бесконечном преобразовании домов? Возможен ли какой-то финальный,